

ВЛАДИМИР ЯШКЕ

МЕДВЕДЬ

«Закон — тайга, медведь — хозяин».

(поговорка)

Странная она — эта казарменная жизнь. Не вдаваясь ни в умиление, ни в поругание (а помнится мне всякое), припомню лишь, что тосковал там по кораблям и домом казармы мне не стали.

Насколько это было мое ощущение и насколько связано с самой матросско-офицерской средой — судить не берусь. В пользу первого то, что мне было «несвободно»: из казармы ни на шаг (иной раз — из угла казармы) — если отца не было, все с сопровождающим меня «дядькой» из боцманов или старшин; нет ни кают-компаний, ни машинных, ни минных отделений, ни рулевых, ни артиллеристов (что за артиллеристы без пушек!). Скучотища. Разве что сигнальщики развлекали меня и сами развлекались, обучая отмахиваться флаговой азбукой. Так однажды я послал, ими подученный, кого-то из офицеров на три буквы. Сигнальщикам здорово влетело.

Это запомнилось в монотонной душноватой казарменной жизни. Они потом еще даже и после гаупвахты, завидев меня, ржали без удержу. «Дядька» мой на них орал матом, что они дите малое мату обучают, а сам ухмылялся в усы и давал свистеть мне в серебряный боцманский трельно-переливчатый свисток.

Вот и все забавы. В остальном я или рисовал чем и на чем попало, или шлялся по казарме и казарменным задворкам, считая ворон, кошек и собак.

Было еще развлечение, если удавалось проскользнуть к КПП (на вахту). Там часто держали собак нешутейных — огромных овчарок и лаек дальневосточных с меня ростом. Я их подкармливал оставшимся в карманах и за пазухой хлебом, отсортировывая его из пригоршней всякой всячины: бумажек, обрывков шпагата и проволоки, огрызков карандашей, гвоздей, гаек, болтов, кусков свинца, олова, свечей, патронов, этикеток, фантиков, флотских латунных пуговиц с якорями, цветных стекол и камней, коробков со спичками и без, пустых папиросных пачек и черт знает чего еще, — как это все на мне помещалось — ума не приложу.

Там же на КПП — чуть поодаль, в отдельной будке — дремал или ходил на толстой цепи огромный камчатский медведь. Собаки его уважали, не задирались. Я тоже. И часами издали за ним наблюдал, а став чуть старше, годам к пяти-восьми, пытался уже и рисовать его на забаву матросам и офицерам.

Это не в одной казарме.

Это во многих. Где — сказать не могу, география моего детства на много тысяч километров во все стороны. Вот когда я пробовал рисовать уже осознанно с натуры медведей, лошадей, корабли, матросов, собак — это я как раз помню, где: это в Торье, что через Петропавловскую бухту, напротив.

Медведя там держали на вахте, что у сходней с берега на пирс, где наш эсминец стоял. Этот был совсем зверюга: хоть и добродушный, а задрал одну приبلудную глупую лайку, надоевшую ему наскоками и истеричным тьявканьем.

Лайку было жалко, — жила бы да горя не знала, по дурости своей пострадала. Мишка терпел, терпел да лениво отмахивался, и как-то, секунду тому как неуклюжий и неповоротливый, молниеносно рванулся огромной тушей, потащив за собой и поваленный столб, и будку свою.

И все: лайка только взвизгнуть истошно и успела. Кровь, куски мяса да драная шерсть — вот и все, что от нее осталось. Это было страшно. Но медведь завораживал.

Он с виду совсем как человек, только огромный, а зверь зверем. И повадки наполовину человечьи. А наполовину звериные. Коренные жители в Приморье, Приамурье, на Камчатке —

нивхи, удэге, ительмены и еще как не помню — звали медведя «таежный человек, лесной человек, дикий человек, хозяин» — очень даже понятно почему — и уважали. По-русски, наверное, тоже языческое: мед-ведь, медом ведает. И еще: закон — тайга, медведь — хозяин.

Медведя того у пирса потом, хоть он и страшный был, тоже случилось пожалеть, — и я, и все к нему привыкли.

Офицер пьяный ночью на пирс ломанулся из увольнения. Медведь рыкнул и смахнул его в воду. Офицер вылез, стрелял и мазал, и опять в воду улетел. Выстрелы меня разбудили, отец всполошился (я был с ним опять на корабле), выбежал, одеваясь на ходу и доставая «ТТ» из черной кобуры.

Офицера того после госпиталя судили и списали, как я понял потом, куда-то услав. Тогда все его осудили. Медведя жалели, и отец водил меня к нему, и я вместе со всеми кормил его конфетами, и он казался добродушным, просто он пьяных не терпел и агрессивных, за что и нес с медвежонковского возраста вахтенную службу с полным военно-морским довольствием. И отец мне сказал, что я больше его не увижу. Я понял — о чем — как-то сразу и огорчился. И еще, что это неизбежно. Отец сказал, так надо — приказ. Я представил себе, что я — он. И ничего нельзя было сделать.



Я долго не мог уснуть. За приоткрытым иллюминатором — шаги вахтенных, волны плескались в стальные борта, в причалы, гремела, перекатываясь, прибрежная галька. Вот склянки отбили, а я все не засыпал и слушал сквозь все это и скрип причалов и сходней, как позвякивает медвежья цепь: медведь еще там.

Потом я заснул. Ночью его застрелили. И когда наутро я рванулся по сходням на пирс, то увидел только сиротливо опустевшую будку.

Целый день я маялся, вглядываясь в лица, желая, наверное, увидеть в них сочувствие медведю, память о нем. Но все же, высказав вчера ему любовь и сопереживание, сегодня, казалось, о нем и знать забыли. Все были заняты своими взрослыми делами, и меня в спешке бесцеремонно одергивали и с досадой отстраняли, а отец наказал меня, заперев в каюте, чтобы я не болтался под ногами.

Угрюмый и растерянный, я забрался на койку и еще засветло, какой-то весь измученный, заснул в слезах и не слышал, как отец приходил и оставил мне чай с печеньем и кашу со сгущенкой, и не проснулся от грохочущего лязга выбираемых якорных цепей, от топота бот по трапам и палубам, от перезвона, клацанья, содрогания, свиста, рева — ни от чего не вернулся из каких-то вперемешку с медвежьими своих снов в реальность, единственно по судьбе неизбежную для меня (это я уже привычно понимал), но показавшуюся мне в истекшие сутки обидной и жестокой несправедливостью.

Проснулся я от сильной качки, от мелких соленых брызг, орошающих мое лицо, от дребезжания ложки в стакане с чаем и дребезжания стакана с подстаканником о стальной судок с кашей и от врывающихся в иллюминатор визгливых криков мечущихся у бортов чаек. Я наскоро оделся, не умываясь, хлебнул чаю и, проскользнув сквозь оказавшуюся уже не запертой дверь, тайком, прячась, у всех под носом просочился по трапам на верхнюю палубу.

Ветер рвал бело-серые кучевые облака в ярко-синем, почти уже полуденном небе. Наш эсминец взрезал вспененный пепельно-зеленый океан, и в нем — ни островка, ни точки, только чайки, остервенело крича, то отставая, то обгоняя, мечутся по-над и между мачтами и надстройками, по очереди стремительно пикируя в расходящийся от кормы углом след нашего только что там прохождения.

Помню, сразу — обида: не разбудили, я проспал. И сразу затем — восторг от ощущения, именно что ощущения океана и корабля в походе как живых существ: они дрожали, они вздыхали, они разговаривали, они были тут наяву — потрогай. И они были мои.

Вцепившись в скользкие леера, я с упоением, со сладким ужасом замирающего сердца уж не знаю сколько слушал, прислушиваясь, смотрел, приглядываясь, вдыхал так глубоко, что голова закружилась.

Продрогший и насквозь мокрый, я пробрался в нашу каюту и набросился на кашу с чаем. Отец все не приходил. Я отогрелся. И тут вдруг с каким-то стыдом вспомнил, что первые мысли, какие бы ни были, оказались не о медведе.

Но пришел отец, озабоченный и усталый, умылся. Мы пили горячий чай, потом отец уснул, а я смотрел в иллюминатор. Потом отца разбудил вестовой, и мы пошли в кают-компанию, а до того еще к командиру какому-то, может к старпому, а может и нет.

И все пошло своим чередом, зарубцовывая в душе, в памяти и в сердце свежие раны и наслаивая на них новые.